

Содержание

<i>Вступительное слово. Норман Дойдж</i>	7
Предисловие	19
Глава 1. Борхес в Бронксе <i>Почему мы так легко забываем, что больные Альцгеймером ничего не помнят</i>	33
Глава 2. “Хворенькая” <i>Почему нам так трудно изменить то, как мы реагируем</i>	51
Глава 3. Слепота деменции <i>Почему мы так долго не замечаем болезни</i>	68
Глава 4. Чехов и интерпретатор левого полушария <i>Почему мы считаем, что человек и в болезни остается таким, как прежде</i>	83
Глава 5. Вездесущий и назойливый гендиректор <i>Почему мы считаем, что больные по-прежнему способны осознавать себя</i>	100
Глава 6. Когда каждый день — воскресенье <i>Почему мы оспариваем реальность больного</i>	115
Глава 7. Мой ужин со Стефаном Цвейгом <i>Почему нас так ранят слова и поступки больных</i>	126

Глава 8. Манипулятор	
<i>Почему мы продолжаем ожидать рационального поведения</i>	<i>137</i>
Глава 9. О, люди	
<i>Почему мы считаем поведение больных намеренным</i>	<i>155</i>
Глава 10. Когда то, что правильно, неправильно	
<i>Почему так трудно не обвинять</i>	<i>166</i>
Глава 11. Волшебница слова	
<i>Почему мы не сдаемся</i>	<i>181</i>
Эпилог	201
<i>Благодарности</i>	<i>207</i>
<i>Примечания</i>	<i>209</i>

**Странники
в невообразимых
краях**

Глава 1

Борхес в Бронксе

*Почему мы так легко забываем,
что больные Альцгеймером
ничего не помнят*

Одним прекрасным днем в 1887 году молодой человек садит жеребца и отправляется на верховую прогулку¹. В дороге жеребец, то ли испугавшись, то ли споткнувшись, сбрасывает седока. От удара о землю юноша теряет сознание, а когда приходит в себя, узнает, что полностью парализован. Беднягу перевозят на его скромное ранчо на юго-западе Уругвая, куда к нему однажды вечером наведывается знакомый писатель. Юноша встречает его в постели: в крошечной тьме, с сигаретой в зубах высоким голосом он декламирует выдержки из латинского трактата. Писатель и молодой человек обмениваются любезностями, и Иренео Фунес (так зовут героя) сообщает о еще одном последствии своего падения. Оказывается, он теперь обладает удивительной памятью. Все — от формы предмета до тени, которую тот отбрасывает, любое переживание и мысль, которая переживанию сопутствует, врезаются в память навсегда и не выцветают со временем. Фунес помнит “не только каждый лист на каждом дереве в каждом лесу, но также каждый раз, когда он этот лист видел или вообразил”. Теперь ему не составляет труда за считанные часы выучить любой иностранный язык, он помнит все свои сны и порой воскрешает в памяти по целому дню, минута за минутой. “У меня больше воспоминаний, чем было у всех людей в мире, с тех пор как мир стоит”, — сообщает он писателю.

Они разговаривают всю ночь, а на рассвете писатель впервые видит лицо Фунеса. Оно кажется ему “более древним, чем Египет, чем пророки и пирамиды”. И внезапно писатель осознает, что безупречная память не преимущество, а тяжкое бремя. Ничего не позволяя забыть, она заставляет задуматься о своем предназначении и переосмыслить его.

Чтобы добраться от Колумбийского университета до района Бронкс, где жил мистер Кеслер, надо доехать на “Первом”² поезде до 231-й улицы и пересестись на автобус. Поездка занимает минут сорок — более чем достаточно, чтобы, отправившись туда в первый раз, я успела усомниться в разумности своего поступка. Неужели я действительно бросила аспирантуру ради того, чтобы превратиться в сиделку у девяностовосьмилетнего старика? Я убеждала себя, что это ненадолго, что я просто немного помогу мистеру Кеслеру по хозяйству, пока его единственный сын Сэм подыщет более подходящий вариант. Но шли недели, и по мере того, как растерянность и внезапные вспышки ярости снова и снова выбивали мистера Кеслера из равновесия, я все больше чувствовала себя вовлеченной в его борьбу с болезнью. Иногда голова мистера Кеслера работала ясно, а иногда словно выключалась, и этот переход из света во тьму происходил настолько стремительно, порой за несколько минут, что я начала догадываться, почему Сэму, как и большинству людей в его положении, было так трудно признать наличие у отца серьезных проблем с памятью — не говоря уже о том, чтобы это принять.

Первую глубокую трещину отношения Сэма с отцом дали, когда Сэму был двадцать один год и он объявил о своем намерении стать профессиональным музыкантом. Саксофон он впервые взял в руки в двенадцать лет и сразу влюбился в его звучание. Поддавшись на уговоры сына, отец купил ему инструмент, и Сэм научился играть со слуха — слушая пла-

стинки и практикуюсь с другими юными музыкантами. Мистер Кеслер не возражал против того, чтобы Сэм “немного пошумел” дома, но семью этим не прокормишь. Сперва Сэм должен найти работу, а уж потом думать о музыке. У Сэма, однако, были иные планы на будущее. Его работа, сказал он отцу, играть на тенор-саксофоне. “Какая же это работа? — возразил мистер Кеслер. — Работа — это служба. Пора бы уже повзрослеть. А когда спишь весь день напролет, чтобы ночью поколобродить, это не работа”.

Но Сэма вполне устраивал его режим дня. Он продолжал “колобродить” чуть ли не каждую ночь, курсируя между барами и играя в составе самодеятельных групп. Денег это приносило не много, но ему хватало. Когда Сэм пытался объяснить отцу, что не может без джаза, мистер Кеслер укоризненно качал головой и повторял: “Слова, слова”. Ему было тревожно за сына: быт не устроен, занимается черт-те чем, не женат.

Пройдя через гетто и концлагерь, мистер Кеслер являл собой странное сочетание самоуверенности и незащитности, наивности и упрямства. Он вел себя как человек, которого ничем на этом свете не удивишь, — возможно, потому, что мир, в котором он умел удивляться, отобрали у него с особой жестокостью. Вероятно, этим же объясняется и повышенная забота о детях, свойственная многим из тех, кто пережил геноцид евреев в середине прошлого века. Дети были их мезью фашизму, наглядным доказательством поражения нацистской идеологии. Хотя мистер Кеслер никогда об этом прямо не говорил, истоки его желания “нормальной жизни” для сына — жизни, которую нельзя было бы отобрать в один день, как отобрали у него, — скорее всего, тоже отсюда.

Сэм как-то признался мне, что с головой ушел в музыку и выбрал колледж за пределами штата по принципу “подалее от дома”, чтобы сбежать от навязчивых отцовских наставлений. Но разве от них сбежишь? Мистер Кеслер год

за годом твердил свое: ты пускаешь жизнь по ветру. А Сэм, даже зная, что не оправдывает отцовских ожиданий, продолжал искать его одобрения. Мучился и от того, что причиняет отцу боль, и от того, что выглядит в его глазах неудачником. Как тут найти общий язык, если один хочет жить по правилам, а другой — вопреки им, если один состоит из банальностей и штампов, а другого от них коробит? В итоге любовь и обеспокоенность мистера Кеслера выражались в предостережениях и обвинениях, а Сэм защищался тем, что доказывал отцу ограниченность его взглядов.

Даже странно, что при столь огромном объеме научной литературы, посвященной вопросам ухода, в ней так мало внимания уделено тому, как деменция встраивается в многолетние отношения и подчас обостряет их давно сформировавшуюся динамику. Действительно, одна из самых жестоких особенностей болезни, о которой медицинские справочники стараются не упоминать, — ее способность паразитировать на уже существующих болевых точках, темах, гарантированно вызывающих обоюдное раздражение. Предупреждая читателя о том, что ему предстоит столкнуться с упрямством, назойливостью, вечными отговорками, подозрительностью, неутрахающей тревогой, отсутствием логики, вздорностью и беззастенчивым отрицанием очевидного, медицинские справочники говорят о симптомах деменции, хотя подобные реакции могут быть вызваны и привычными раздражителями, свидетельствовать о проблемах, которые всегда являлись яблоком раздора в семье.

Все, что раздражало Сэма в отце, когда тому было шестьдесят, не меньше раздражало его и сегодня, когда отцу было почти сто. Но в последнее время его особенно бесила развившаяся у отца потенциально опаснейшая тяга к починке электроприборов и ламп. Не меньше чем раз в неделю до меня доносился следующий диалог:

Сэм: Не трогай лампу у себя в комнате. Она может ударить током.

МИСТЕР КЕСЛЕР: Я ее не трогаю. Не понимаю, что ты от меня хочешь.

Сэм: Ты пытался ее починить, отсоединил провод и порезался.

МИСТЕР КЕСЛЕР: Я не отсоединял провод. Какой провод я отсоединил?

Сэм: Не спорь со мной! Просто не делай этого. Для твоего же блага.

МИСТЕР КЕСЛЕР: А я разве спорю?

Сэм: Постоянно. Ты все делаешь мне назло.

МИСТЕР КЕСЛЕР: В жизни не слышал, чтобы я делал что-то кому-то назло.

Сэм: А теперь делаешь.

МИСТЕР КЕСЛЕР: Что? Что я делаю?

Сэм: Не слушаешься. Споришь. А будешь продолжать, я вообще перестану к тебе приходить.

МИСТЕР КЕСЛЕР (*встревоженно*): Даю слово. Даю слово, что всегда буду тебя слушаться.

Сэм: Хорошо. Теперь дай слово, что не будешь трогать лампу у себя в комнате. Повтори: “Я не буду трогать лампу”.

МИСТЕР КЕСЛЕР (*возмущенно*): Я ее не трогаю. Какую лампу?

Сэм: Да что ж это такое! Прекрати со мной спорить!

МИСТЕР КЕСЛЕР: Разве я с тобой когда-нибудь спорю?

Каждый раз, когда я слышала подобные перебранки, на меня накатывало острое желание вмешаться, остановить. Деменция сшибала отца и сына лбами точно так же, как до болезни их сшибало лбами острое желание уязвить друг друга. С той только разницей, что теперь стычки мгновенно выветривались из памяти мистера Кеслера, а Сэм, как и раньше, копил переживания в себе до тех пор, пока отчаяние и гнев не прорывались наружу, усиливая чувство вины. Когда же Сэм начинал ругать себя за очередной срыв, мне хотелось провалиться сквозь землю от стыда за свое бессилие перед ними обоими. К тому времени я уже по-

няла, что не могу облегчить состояние мистера Кеслера, но Сэму-то я могла помочь — так мне, по крайней мере, казалось.

Как-то после очередной перебранки я отвела Сэма в другую комнату и показала ему два снимка. На одном был мозг здорового человека, на другом — мозг человека, страдающего деменцией, с гиппокампом вдвое меньше обычного. Глядя на тусклое изображение скукожившегося гиппокампа, Сэм помрачнел, пораженный наглядным свидетельством разрушительной работы болезни. Вот оно, неоспоримое доказательство того, что его отец уже не тот человек, с которым он всю жизнь выяснял отношения. Но не прошло и часа, как Сэм и мистер Кеслер вновь в раздражении кричали друг на друга.

Я получила урок. Так же, как я ошибалась, принимая периодически случавшиеся у меня задушевные разговоры с мистером Кеслером за начало сближения, я ошиблась, посчитав, что снимок пораженного болезнью мозга изменил отношение Сэма к отцу. Позднее, когда я замечала на лице Сэма то выражение, с которым он рассматривал снимки, или когда видела, как после очередной ссоры он с нежностью берет отца за руки, мне каждый раз казалось, что теперь-то уж точно он раз и навсегда осознает и примет новую реальность. Но проходило совсем немного времени, и вновь слова или поступок мистера Кеслера выводили Сэма из себя, и мне ничего не оставалось, как наблюдать за этим в недоумении и отчаянии. Сколько бы я ни объясняла Сэму, как работает мозг, пораженный деменцией, все было впустую. Каждый день как с чистого листа. По неволе задумаешься, у кого бóльшие проблемы с памятью — у отца или у сына.

Оказалось, что у меня. Я забыла о существовании “когнитивных границ” здорового мозга — фактора, который часто выпускают из вида многие специалисты по психическим расстройствам. Разумеется, это естественный подход — противопоставлять здоровую психику больной, но в реальности различия между здоровым мозгом и мозгом, пораженным болезнью, далеко не так очевидны. Отрицания и искажения

не всегда свидетельствуют о болезни, и это больше всего сбивает с толку тех, кто ухаживает за больным.

В своей книге “Семь грехов памяти”³ психолог Дэниел Шектер систематизирует нарушения (грехи), приводящие к ошибкам памяти. Одни нарушения — к ним он относит “предвзятость”, “ложную память” и “внушаемость” — искажают воспоминания. Другие — “эфемерность” и “рассеянность” — ослабляют их. Эти, казалось бы, “мелкие” грехи мы категорически отказываемся за собой признавать, хотя никто не спорит с тем, что память несовершенна и многое забывается. Тут самое время напомнить о компенсаторных стратегиях, к которым прибегает память, чтобы замести следы собственной забывчивости. Когда мы что-нибудь забываем, на помощь приходит разум, который и не думает сдаваться, а вместо этого создает новые нарративы. Да, они чреваты ошибками, но это небольшая плата за куда более важное приобретение: возможность остаться внутри понятной системы координат, сохранить привычные ориентиры.

Одна из задач памяти — наводить порядок в хаосе мироздания⁴, конструируя и реконструируя прошлое, чтобы создавать впечатление связности. Дэниел Шектер поясняет: вспоминая, мы не вглядываемся в события прошлого⁵, направляя на них мощный прожектор, чтобы воспроизвести во всех мельчайших подробностях. Вместо этого мы реконструируем пережитое, основываясь на *отдельных* деталях того, что действительно произошло, на общем представлении о том, что *могло* произойти, и на наших нынешних убеждениях и чувствах. Как это происходит? По всей вероятности, пережитое нами оставляет в нашем мозгу биологический след — ученые назвали его “энграммой”⁶. Кодирование, или создание такого биологического следа, происходит крайне избирательно. Мы бессознательно кодируем лишь ту информацию, которая соответствует нашему предшествующему опыту, нашим знаниям и нашему психологическому состоянию в момент кодирования. Вот почему люди

могут иметь совершенно разные представления и воспоминания об одном и том же событии.

Более того, вспоминая, мы не просто “расшифровываем” энграммы, подобно тому как компьютер расшифровывает информацию, хранящуюся на жестком диске. Триггеры, вызывающие воспоминания (запахи, настроение, звуки, зрительные образы), тоже влияют на уже имеющиеся (то есть ранее созданные мозгом в результате тщательного отбора) “биологические следы” и модифицируют их. Получается, что воспоминания создаются прошлым в соавторстве с настоящим. С этим выводом, как замечает Шектер, не так-то просто смириться. Ведь мы интуитивно убеждены в прямой, не подверженной внешнему воздействию связи между событием, запечатленным у нас в мозгу (энграммой), и воспоминанием, которое рождается на его основе⁷. А это отнюдь не так. “Воспоминание о событии, — пишет Шектер, — это не просто активированная энграмма⁸, а уникальный орнамент — сложнейшее переплетение энграммы и элементов триггера”. Из набора таких орнаментов складывается автобиография — повествование, объясняющее нас самим себе.

Некоторые из этих повествований бывают на удивление устойчивы, сохраняясь даже при неврологических нарушениях. Ни болезнь Альцгеймера, ни другие виды деменции не лишают личность ее индивидуальных особенностей, тех свойств и черт, из которых складывается наше представление о себе⁹. Теряется лишь способность пересматривать эти представления в соответствии с изменяющимися реалиями. Поэтому, когда Сэм говорил отцу, что тот стал слишком много есть (повышенный аппетит — частый спутник болезни Альцгеймера), мистер Кеслер машинально восклицал: “Исключено!” — ведь он привык считать себя человеком, который во всем соблюдает чувство меры. Если Сэм просил не донимать его одними и теми же вопросами, мистер Кеслер уверял, что не донимает, — ведь он привык считать себя человеком, который старается никого попусту не беспокоить. А когда Сэм просил не срывать на мне свое раз-

дражение, мистер Кеслер возмущенно кричал в ответ: “С чего ты это взял? Мы с ней прекрасно ладим”.

Чем вызвано такое отрицание очевидных фактов — болезнью Альцгеймера или несовершенством памяти? Близкие, ухаживающие за больными, постоянно задают себе этот вопрос, поскольку болезнь, вторгаясь в изначально изменчивое воспоминание, делает его еще более зыбким. И как в таком случае отличить спорадические, разовые провалы в памяти от провалов, вызванных болезнью? Даже когда провалы случаются регулярно и становятся всеобъемлющими, близкие не видят в них отклонения от нормы до тех пор, пока больные продолжают складывать уникальный орнамент повествования, объясняя себя и себе, и нам.

Возможно, вследствие ранней утраты семьи и дома мистер Кеслер привык считать себя добропорядочным человеком, который всегда приходит на помощь другим, но сам в помощи не нуждается. Это стойкое представление о себе как о самодостаточном и высоконравственном человеке создавало ощущение внутреннего покоя и позволяло ему справляться с жизненными невзгодами. Поэтому, сталкиваясь с обвинениями в том, что он кому-то мешает, мистер Кеслер привычно укрывался от них в тени своих убеждений и предвзятости. Кроме того, ему на выручку приходила “эгоцентрическая предвзятость” памяти¹⁰ — присущая всем нам особенность акцентировать те эпизоды, в которых мы выглядели хорошо, и ретушировать те, в которых мы выглядели не лучшим образом. В итоге в пересказе события получаются у нас более захватывающими, более яркими и более неопровержимыми, чем они были в действительности.

Изобретательность, с которой мистер Кеслер обходил и компенсировал провалы в памяти, навела меня на мысль о рассказе Хорхе Луиса Борхеса “Фунес, чудо памяти”, главный герой которого помнит абсолютно все. Казалось бы, это

уникальное качество должно дать человеку громадное преимущество, но выясняется, что способность помнить и воспроизводить бесконечное количество информации — кара едва ли не большая, чем полное отсутствие памяти. Не умея забывать, Фунес избавлен и от грехов памяти. Хотя мы считаем эти грехи дефектом, на них возложена важная адаптивная функция — они помогают нам ориентироваться в окружающем мире. Из-за того, что люди не в состоянии удержать в голове все детали пережитого, разуму приходится обобщать полученный опыт, исходя из его ценности, вынесенных уроков и смысла. Однако у Фунеса с его идеальной памятью необходимости в этом нет. Весь его мир всегда при нем: любая мысль, любой зрительный образ и звук, любое переживание, раз мелькнув, запечатлеваются навсегда. По сути, Фунес становится рабом своей памяти и вынужден накапливать все новые и новые факты, множа подробности, бесконечно увеличивая объем информации, но не имея возможности все это хоть как-то систематизировать.

Опередив когнитивную психологию на полвека, Борхес предугадал то, что со временем ляжет в основу понимания природы человеческой памяти: память не способна к точности, она не магнитофон и дана нам не для фиксации событий, а для их реконструкции, с тем чтобы, восстановив прошлое, мы могли лучше ориентироваться в настоящем. Даже утратив способность помнить, мистер Кеслер в отличие от Фунеса по-прежнему мог конструировать то, что Оливер Сакс называл “личностным нарративом”, то есть продолжать рассказ о собственной жизни вопреки болезни, методично вымарывающей из его памяти как сами события, так и полученный в результате них опыт¹¹.

Однако то, что помогает больным противостоять болезни, больше всего обескураживает тех, кто за больными ухаживает. Чем беспомощнее становился мистер Кеслер, тем настойчивее твердил о своей значимости и непогрешимости и категоричнее отрицал все, что шло вразрез с его самооценкой. Сэм

не связывал это поведение, находя его вполне типичным, с поражением гиппокампа — ведь отцу всегда была свойственна замкнутость на себе. Собственная предвзятость Сэма мешала ему признать, что отец уже практически ничего не помнит.

Поскольку память избирательна и “избирает” в первую очередь то, что имеет отношение к ранее приобретенным знаниям¹², все мы “редактируем” настоящее, подстраивая его под прошлое. Какими бы странными ни были слова и поступки мистера Кеслера, память Сэма “редактировала” их так, чтобы они вписывались в его привычное представление об отце. В итоге предвзятость больных и предвзятость тех, кто за ними ухаживает, вместе способствуют тому, что ни те, ни другие не сознают, насколько прогрессирует болезнь.

К сожалению, только когда больные становятся по-настоящему беспомощными, а механизм компенсации исчерпывается, близкие видят реальное положение дел. Как-то, задержавшись дольше обычного, Сэм застал отца в коридоре, куда тот вышел позвонить по стационарному телефону.

— Кому ты звонишь? — спросил Сэм.

— Сыну, — ответил мистер Кеслер.

— Да? — сказал Сэм. — А я кто?

— Ты — Сэм, — сказал отец, не замечая противоречия и даже слегка подсмеиваясь над нелепостью вопроса.

Он продолжил набирать номер.

На мгновение Сэм, казалось, окаменел. Затем подошел к отцу, аккуратно вынул из его руки трубку и медленно опустил ее на рычажок. По выражению лица Сэма я поняла, что он в этот момент почувствовал. Увидела, как он наконец осознал, что в голове отца происходят процессы, на которые нет возможности повлиять. Мистер Кеслер странствовал в таких невообразимых краях, куда Сэму путь был заказан. Ему ничего не оставалось, как только принять этот факт, смириться с ним, ибо никакого иного способа помочь отцу (и себе) совладать с болезнью не осталось.

“Все, — подумала я. — Теперь-то он точно понял”.

Понял, но не до конца. В моменты, когда мистер Кеслер вел себя более адекватно, понимание Сэма словно куда-то улетучивалось, и все начиналось по новой.

Когда мистер Кеслер заболел, отец и сын поменялись ролями. Теперь беспокоился Сэм: чрезмерно опекал, контролировал каждый шаг, требовал, чтобы мистер Кеслер вел нормальный образ жизни. А мистер Кеслер, наоборот, жаждал свободы, доказывал свою независимость и вел себя как человек, который знает, что делает. По сути, он столкнулся с той же степенью нетерпимости, которую когда-то проявлял по отношению к Сэму.

С горечью, типичной для многих взрослых детей, Сэм наблюдал за тем, как отец постепенно перестает быть тем человеком, которого он знал с детства. Ему казалось несправедливым и даже жестоким, что после стольких потерь — родителей и всех родственников, погибших во время войны, жены, умершей от рака, — болезнь стирает саму память о них, тем самым обрекая мистера Кеслера потерять их снова. Сэм делал все возможное, чтобы это предотвратить. Навещая отца, терпеливо выслушивал истории, которые до этого слышал сотни раз. Особенно любил, когда отец рассказывал о Варшаве, о дорогих ему людях из его довоенного детства. Такие моменты можно даже назвать счастливыми: отец заметно смягчался и позволял Сэму ухаживать за собой.

Болезнь Альцгеймера может провоцировать конфликты, а может — теплоту и нежность; так в наступившей тишине, утомившись от спора, задремывая, мистер Кеслер нащупывал руку сына. Потому ли, что возникает потребность утешать и спадают внутренние запреты, или из-за того, что при уходе за больными не обойтись без прикосновений, болезнь Альцгеймера делает некоторых людей более ласковыми.

Однажды в обычный воскресный день Сэм решил сделать что-нибудь необычное. “Давай я тебя побрею”, — предложил

он отцу, когда тот собрался бриться. Мистер Кеслер сначала только фыркнул в ответ, но, намылив щеки и убедившись, что рука утратила былую уверенность, нехотя согласился. Сэм поставил высокий табурет перед раковиной в ванной, и мистер Кеслер на него взгромоздился. Добавив пены на лицо отца, Сэм взял у него из рук одноразовую бритву. Я стояла в дверях ванной и видела, что, едва мистер Кеслер почувствовал прикосновение пальцев Сэма и скольжение лезвия по щетине, он испытал удовольствие. Сэм тоже радовался, видя, как мистер Кеслер млеет от того, что за ним ухаживают. “Не хуже, чем в парикмахерской, — усмехаясь, сказал мистер Кеслер, когда Сэм закончил. — Сколько с меня?” А когда Сэм вытер полотенцем остатки пены с шеи и щек, мистер Кеслер наклонился к нему и выдохнул: “Хорошо!”

Хотя мистер Кеслер часто забывал про “минуты близости”, стоило Сэму сказать: “Не пора ли побриться?” — он сразу откладывал газету и отправлялся за Сэмом в ванную. Я знала, что и Сэм всегда ждал этих пятнадцати минут полнейшей гармонии с отцом, и поэтому испытала нечто вроде шока, когда однажды, бросив свое обычное: “Сколько с меня?” — мистер Кеслер небрежно добавил: “Тебе ведь деньги не помешают. На твоё хобби не проживешь”.

Опешив, Сэм ощутил знакомый прилив гнева и даже попытался.

Не понимая, что произошло, мистер Кеслер повернул голову и спросил: “Что случилось? Почему ты остановился?”

Сэм не ответил. Потерянно и отрешенно он снова взялся за бритву.

Несмотря на болезнь Альцгеймера, у мистера Кеслера сохранился нетронутым не только его собственный образ, но и образ Сэма, давно не соответствовавший действительности. Почти тридцать лет прошло с тех пор, как Сэм, молодой музыкант, с трудом сводил концы с концами, но мистер Кеслер теперь по большей части жил в прошлом, где профессиональные неудачи Сэма по-прежнему не давали ему покоя. На этой

стадии болезни трудно с уверенностью сказать, чем были спровоцированы слова мистера Кеслера — болезнью или избирательностью памяти. В конце концов, известно немало случаев, когда потеря памяти у больных никак не отражалась на сложившейся задолго до этого искаженной картине мира. Пересказывая мне этот случай, Сэм сказал фразу, которую впоследствии в разных вариациях я слышала от многих людей, ухаживающих за больными: “Он помнит только то, что ему хочется помнить”.

За годы практики я привыкла к тому, что близкие часто даже не пытаются скрыть раздражения на тех, за кем ухаживают. У многих, как в случае Сэма, раздражение вызывается именно тем, что больные бывают то адекватны, то невменяемы. Многократно доказано, что при наличии неразрешенных проблем в отношениях близкие будут скорее испытывать раздражение, чем смиряться с болью потери. И это нежелание принять и отпустить только усугубляется болезнью, которая делает поведение больного достаточно двусмысленным, чтобы не дать родственникам прожить их горе.

Однажды вечером, когда Сэм помогал отцу устроиться в постели, мистер Кеслер поднял на него глаза и спросил доверительным тоном:

— Кто ты?

— Твой сын, — ответил Сэм, явно не ожидавший такого вопроса.

— Мой сын? — озадаченно переспросил мистер Кеслер. — И давно ты мой сын?

— Года шестьдесят два, если я ничего не путаю, — сказал Сэм, одновременно и встревоженный, и удивленный вопросом.

Глаза мистера Кеслера округлились.

— Ты мой сын уже шестьдесят два года и только *сейчас* удосужился мне сказать?

— Иногда я и сам об этом забываю, — засмеялся Сэм.

Видя, что сын смеется, мистер Кеслер тоже начал смеяться.

Позднее Сэм набрел на меня на кухне. Выглядел он мрачнее тучи.